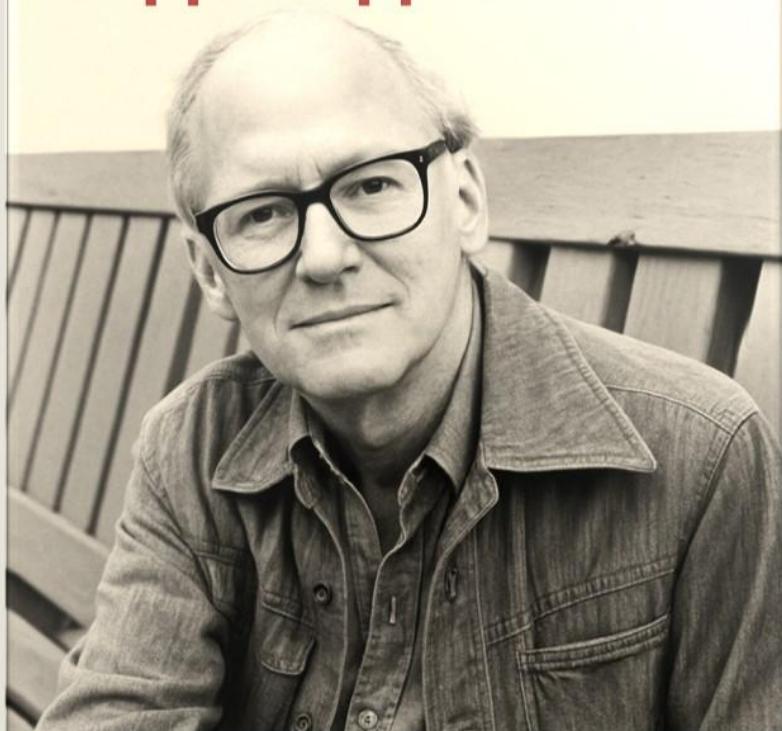


ТЕОРИЯ МЕТАФОР ДОНАЛЬДА ДЭВИДСОНА



БОРИС КРИГЕР

БОРИС КРИГЕР

ТЕОРИЯ
МЕТАФОР
ДОНАЛЬДА
ДЭВИДСОНА



© 2025 Boris Kriger

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to krigerbruce@gmail.com

Published in Canada by Altaspera Publishing

Теория метафор Дональда Дэвидсона

Книга разворачивает размышление о метафоре как о первичной форме мышления и когнитивной технологии, способной не просто выражать мысли, но менять сам способ восприятия. Отталкиваясь от теории Дональда Дэвидсона, отвергшего идею «второго смысла» в метафоре, автор переосмыслияет её не как носителя скрытого содержания, а как активное событие внутри языка, воздействующее не через объяснение, а через сдвиг восприятия. Анализ метафоры выходит за пределы лингвистики — в область когнитивной философии и онтологии, где образ становится не украшением речи, а структурой мышления, через которую человек осваивает мир. Каждая эпоха мыслит своими метафорами, и смена этих образов равнозначна изменению самой картины реальности.

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПОЧЕМУ МЫ МЫСЛИМ МЕТАФОРАМИ.....	14
ГЛАВА ВТОРАЯ. МЕТАФОРА КАК ИНСТРУМЕНТ КАТЕГОРИЗАЦИИ....	16
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МЕТАФОРА КАК СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ	19
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ИСТОКИ И ЛИНИИ ТРАДИЦИИ	22
ГЛАВА ПЯТАЯ. ДОНАЛЬД ДЭВИДСОН: ТЕЗИС И МОТИВАЦИЯ.....	25
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ДЭВИДСОН: АРГУМЕНТЫ, ПРИМЕРЫ, ЛОГИКА	28
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ПОЧЕМУ ДЭВИДСОН ВАЖЕН И ИЗВЕСТЕН	31
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ГРАНИЦЫ ПОДХОДА ДЭВИДСОНА	34
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОБЩАЯ КРИТИКА И АЛЬТЕРНАТИВЫ	37
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МЫСЛИТЕЛИ ЦЕЛОГО: ДЕКАРТ, КАНТ И НАТУРФИЛОСОФИЯ	40
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. МЕТАФОРА В НАУКЕ: ФИЗИКА	43
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. МАТЕМАТИКА КАК ОЧИЩЕННАЯ МЕТАФОРА	46
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ПРОТОМЕТАФОРЫ	50
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. «МЕТАФОРИКА» НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ.....	53
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. МАТРИЦЫ И АРХЕТИПЫ МЕТАФОР	56
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. КУЛЬТУРЫ И ИХ МЕТАФОРЫ	59
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ЭТИКА МЕТАФОР	62
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. ПРОТИВ «РАСШИФРОВКИ НЕЗАШИФРОВАННОГО».....	65
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. ПРАКТИКИ МЕТАФОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.....	68
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. МЕТАФОРА КАК СРЕДА МЫСЛИ.....	71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	77
БИБЛИОГРАФИЯ	81

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние десятилетия метафора оказалась загнанной в узкое пространство риторических украшений, словно её истинная суть ускользнула из поля зрения, уступив место пустой эффектности. Однако изначально метафора служила не для того, чтобы придавать словам блеск, а чтобы раскрывать смысл, ещё не найденный прямыми обозначениями. Она рождалась не как способ украсить высказывание, но как форма познания, позволяющая мыслить о незнакомом через знакомое, об отвлечённом — через здимое, о сложном — через простое.

Цель этой книги — вернуть метафоре её изначальную функцию, вернуть ей голос в размышлении, в исследовании, в попытке осмысливать мир. Не как средство воздействия на чувства, а как путь проникновения в суть вещей. Не как изысканный приём, но как инструмент мышления, равный по значимости логике, аналогии, абстракции. Метафора не лжёт, когда используется по назначению. Напротив, она позволяет сказать то, что не может быть выражено иначе, не теряя при этом точности. Развивая мысль, метафора не отступает от истины, она просто движется по иной траектории. Её задача — не замена понятий, а их раскрытие, не подмена анализа, а его углубление. И если в какой-то момент она показалась излишней, то лишь потому, что её забыли прочесть как мысль, а стали воспринимать как риторический жест. Эта книга — попытка вновь научиться читать метафору как акт мышления.

Метафора в этой книге предстает не как украшение речи и не как фигура стиля, а как один из древнейших способов осмысливания действительности, как исходный

жест мышления, рождающий связь между явлениями, ещё не объединёнными логикой. Она возникает в тот момент, когда уму не хватает прямых средств, когда язык оказывается слишком беден для новых смыслов, и тогда мышление, не находя готовых форм, создаёт их само — соединяя далёкое, сближая несходное, открывая за видимым — скрытое.

Такое понимание метафоры требует признания её в качестве первичной формы познания, того самого механизма, при помощи которого человек впервые попытался выразить невидимое через видимое, дать имя неопределённому, наделить абстрактное чертами конкретного. В этом смысле метафора становится первой технологией ума — не внешним инструментом, а внутренним способом работы сознания. Она не подменяет мышление — она его запускает.

Едва возникнув, мысль опирается не на точные определения, а на образы, ещё не разделённые строгими границами. Через них обнаруживается способность ума к созданию связей, к выявлению общих структур там, где ещё нет языка науки. Подобно тому как первые орудия труда рождались из простых действий, первая ментальная конструкция возникала как метафора — как акт сопоставления, открывающий путь к пониманию. Именно поэтому метафора не может быть отнесена лишь к сфере поэтического — она принадлежит самой ткани сознания, предшествует системам и теориям, действуя там, где ещё нет понятий, но уже есть интуитивная форма связи.

В размышлениях о метафоре как о способе мышления особое место занимает фигура Дональда Дэвидсона, чья работа становится отправной точкой, не из-за согласия с

его выводами, а скорее потому, что его отрицание второго смысла, как присущего метафоре, ставит под сомнение саму традицию толкования. Его утверждение о том, что метафора не говорит ничего помимо буквального, а лишь вызывает особый отклик у читателя, разрушает привычную и кажущуюся очевидной иерархию значений, в которой за поверхностью слов всегда предполагается нечто скрытое, подлинное, требующее расшифровки.

Такое радикальное отрицание второго смысла заставляет по-новому взглянуть на то, как язык действует. Дэвидсон словно указывает: сила метафоры — не в переводе с одного кода на другой, а в том, что она делает с восприятием прямо сейчас. Не объясняя, не уточняя, не передавая заранее готовую мысль, метафора влияет иначе — перестраивая сам способ видеть, слышать, думать. Она не сообщает, она действует.

Это сдвигает акцент: речь идёт не о содержании метафоры, а о её работе. Метафора уже не выступает носителем вторичного значения — она превращается в событие внутри языка, в акт, который нельзя разложить на понятия без потери самого движения мысли. Дэвидсон, отрицая наличие скрытого смысла, невольно открывает дверь к новому пониманию: метафора существует не для того, чтобы быть понята в терминах, отличных от себя самой, но чтобы изменить саму ткань понимания. Она не переводима — она преобразует. И в этом её сила.

Главное различие, которое пролегает между традиционным взглядом на метафору и её подлинной природой, заключается в том, что метафора не стремится передать заранее сформулированную мысль, не несёт с

собой чётко очерченного содержания, не служит каналом передачи знания в привычном смысле. Её задача — не сообщить, а совершить. Она не объясняет, но вмешивается в сам способ восприятия, переиначивая границы между известным и неясным, сдвигая привычные соотношения между словами и вещами.

В этом смысле метафора приближается не к языку науки, где каждое выражение стремится к точности и проверяемости, а к жесту художника, который не рассказывает о мире, а создаёт его заново, предлагая взглянуть иначе. Не будучи доказательством, она становится изменением — в способе видеть, в ритме мысли, в чувстве структуры. Она действует не как формула, а как столкновение образов, которое вызывает в сознании движение, недоступное логическому расчёту. Её сила проявляется в том, как она преломляет обыденное, заставляя обострённым слухом уловить невысказанное. Словно поворот зеркала, она меняет угол зрения, не прибавляя информации, но открывая новое измерение восприятия. И потому метафору нельзя просто расшифровать или заменить на эквивалентную фразу — это разрушило бы её суть, оставив лишь оболочку. Её действие сродни опыту: пройдя сквозь неё, мышление уже не возвращается в прежние границы.

Понимание метафоры, вырываясь за узкие рамки лингвистических категорий, неизбежно обращается к более глубинным уровням, где язык уже не разделяется на формы и значения, а становится продолжением самой способности сознания строить реальность. Здесь анализ метафоры выходит за пределы чисто языковой системы и входит в пространство когнитивной философии, вглубь которой уходит вопрос не о значении слов, а о способе

бытия в мире. В этом сдвиге внимание переносится с текста на восприятие, с структуры высказывания — на саму природу мышления.

Когда метафора рассматривается в онтологическом ключе, она перестаёт быть внешней конструкцией речи. Она становится способом существования мысли, той её формой, в которой ещё нет отвлечённого понятия, но уже есть направленность, жест, пробуждение смысла. Она не просто украшает язык — она формирует саму ткань восприятия, создавая реальность не описанием, а придавая ей внутреннюю организацию.

Мышление через образы предшествует абстракции, формируя первую форму интеллектуального освоения окружающего. Ещё до появления логических схем, до вычленения понятий и категорий, ум опирался на аналогии, метонимии, символические сопоставления. Это была не примитивная форма, а первичная сила, объединяющая чувственное и мыслящее. Именно образ, будучи неделимым соединением внешнего и внутреннего, позволял человеку вступать в отношения с тем, что ещё не поддавалось расчленению и анализу.

В этом раннем взаимодействии с миром образ служил не представлением, а действием, в котором нечто невидимое становилось зримым, нечто неизмеримое — обретало форму. Поэтому метафора, восходящая к этому древнему жесту мышления, не может быть сведена к языковой игре или стилистической фигуре. Она продолжает быть живой структурой разума, благодаря которой создаётся не просто высказывание — создаётся сама возможность видеть иначе.

Каждая эпоха несёт в себе не только особые идеи, но и неповторимый строй метафор, через которые эти идеи обретают очертания. Исторические переломы не всегда

выражаются в новых теориях — чаще они происходят в смене образов, через которые человек воспринимает себя и своё место в мире. Не случайно, что картина мира меняется не только с открытием новых знаний, но и с тем, какие метафоры начинают определять мышление эпохи. То, как мыслится время, пространство, тело, сознание, — всё это зависит от доминирующих образных структур, которые не осознаются напрямую, но формируют пределы возможного высказывания. Когда в античности человек понимал мир как космос — упорядоченное, одухотворённое целое, — метафоры вращения, меры, гармонии были не просто выразительными средствами, а основами мышления. Средневековые, воспринимая жизнь как путь, подчинённый божественному замыслу, выстраивало образ мира как иерархию, в которой каждая вещь имела своё предопределённое место. Эпоха модерна приносila другие метафоры — механизм, структура, система, в которых человек оказывался уже не центром мироздания, а элементом в сложной взаимосвязи процессов.

Смена метафор — это не замена одних слов другими, а смещение самой оси восприятия. Когда метафора теряет силу, вместе с ней уходит и сама возможность мыслить определённым образом. И напротив, появление новой образной структуры означает, что сознание начинает воспринимать реальность иначе, перестраивая старые связи, разрушая прежние границы. В этом смысле каждое крупное мировоззренческое сдвижение, каждое философское или научное преобразование начинается с образа, который не просто иллюстрирует мысль, но формирует её изнутри.

Такая роль метафоры делает её не вторичным продуктом языка, а основой интеллектуальной истории. Через неё

можно проследить, как мышление движется во времени, как оно отклоняется, выпрямляется, преодолевает себя. Метафора, будучи движущей силой воображения, становится в то же время структурой эпохального знания, невидимым каркасом мировосприятия, который определяет, что возможно думать, а что остается за пределами мысли.

Эта книга послужила отправной точкой для более масштабного англоязычного труда *Metaphor as a Way of Thought*, в котором изначальная интуиция автора получила глубокое и всестороннее развитие. В новом контексте первоначальная идея была не просто повторена, а вплетена в более широкий философский и культурный дискурс, где метафора рассматривается как неотъемлемая часть мышления, действующая не на периферии языка, а в его центре.

Объём английского издания превзошёл оригинал почти в пять раз, однако это расширение не стало простым накоплением аргументов — оно отразило сложность самой темы, которая, как оказалось, не может быть исчерпана короткой формулировкой. Каждый раздел нового исследования не только раскрывал отдельные аспекты метафорического мышления, но и показывал, как глубоко метафора пронизывает структуру познания, научного воображения, этики и даже политического действия.

Подвергаясь пересмотру в разных интеллектуальных контекстах, первоначальная гипотеза начала функционировать как живая мысль — не застывшая в рамках одной модели, но способная прорастать сквозь иные дисциплины и школы. Именно это и определило масштаб нового труда: он не объясняет метафору, а позволяет ей действовать, разветвляясь, соприкасаться с

другими формами знания. Здесь метафора становится не только темой, но и методом — способом построения самой книги, где теоретическая строгость сочетается с образным напряжением, необходимым для того, чтобы мысль продолжала двигаться.

Такое продолжение не отменяет значения первоначального замысла, но показывает его потенциал, раскрытый в пространстве другой традиции, другого языка, и, в каком-то смысле, другой интонации. И тем ценнее оказывается исходный текст, на правах корня, из которого выросло дерево более сложной и разветвлённой конструкции, не утратив при этом связи с почвой, из которой всё началось.

Русская версия этой книги представляет собой не сокращение в традиционном смысле, но предельную концентрацию, в которой каждая мысль доведена до своей плотности, каждое утверждение отточено до сущи. Здесь отброшено всё второстепенное, не несущие смысловой нагрузки конструкции уступают место точному и сосредоточенному изложению. Этот текст не предлагает читателю разветвлённого анализа и обстоятельного комментирования, как это сделано в расширенном англоязычном труде, но требует сосредоточенного внимания и внутреннего участия, поскольку в нём содержится напряжение первичного замысла, сохранённого в сжатом объёме.

Однако компактность не означает поверхностности. Напротив, именно в лаконичности обнаруживается напряжённая работа мысли, в которой каждый образ, каждая формулировка несут на себе след замысла, выходящего за рамки одной дисциплины. Эта книга не даёт готовых ответов, но открывает пространство для размышления о том, как устроено собственное

восприятие, на каких образах строится личная картина мира, и какие метафоры лежат в основании повседневного мышления.

В этом смысле книга становится не только исследованием, но и приглашением — к самонаблюдению, к вниманию к тем языковым жестам, которые, будучи неосознанными, определяют направление суждений, влияют на выбор, формируют представление о себе и о других. Осознание метафор, которыми мыслится мир, обворачивается не только актом интеллектуального пробуждения, но и принятием ответственности: за то, как формулируется мысль, за то, каким образом она воздействует на окружающее, и за то, к чему приводит повторение одних и тех же образов.

Ответственность за метафору — это не просто стилистическая забота, а этическая задача, в которой язык становится не только средством выражения, но и формой действия. Именно поэтому книга не завершается выводом, а продолжается внутри читателя — в том движении мысли, которое начинается с попытки увидеть, какие образы управляют пониманием и можно ли, распознав их, изменить сам способ видеть.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПОЧЕМУ МЫ МЫСЛИМ МЕТАФОРАМИ

Мышление, с самого начала своего пробуждения в человеке, стремилось не к украшению мира, а к овладению им. Оно не обвешивало действительность блестящими безделушками слов, но лепило из сырого опыта прочные формы понимания. Именно метафора стала первым инструментом, позволившим обуздить необъятность окружающего. Её задача — не украсить, а схватить суть. Слово, взятое из одного измерения жизни, становилось ключом к тайне другого, сжимая непостижимое в обозримый образ. В этом сжатии крылась великая сила: когда бесформенное обретает очертания, с ним можно иметь дело.

Процесс освоения нового всегда начинался с переноса. Там, где язык ещё не изобрёл собственного имени, на помощь приходил старый знакомый образ. Через него чуждое становилось родным, необъяснимое — близким. Не зная устройства времени, его называли рекой; не постигнув устройство памяти, её уподобляли зеркалу. Образ, знакомый по ощущению, переходил в область абстракции, и, закрепившись там, уже не просто пояснял — он создавал. Слово, изначально лишь намекающее, с годами становилось основой новой системы координат, в которой мысль уже не просто скользила, а строила.

Так метафора вырастала в структуру. Она больше не зависела от начального сходства — теперь она диктовала, как понимать явление. Вода переставала быть только жидкостью, она становилась моделью для тока электричества, для кругооборота в природе, для движения идей. В этом и заключается отличие метафоры от простого сравнения: последнее фиксирует свойства, первое формирует каркас. Сравнение стоит снаружи,

метафора — внутри. Там, где одно указывает пальцем, другое создаёт тело.

Если следовать этой линии глубже, можно рассмотреть метафору как первую настоящую технологию разума. До того как появились числовые обозначения, графики и абстрактные символы, мысль уже пользовалась способностью переносить смысл. Всё, что впоследствии назовут логикой или алгеброй, станет лишь развитием древней способности видеть в одном другое. Математика не опровергла метафору — она сделалась её продолжением, обратив подвижные образы в неподвижные знаки.

Эта смена не была мгновенной. История мышления — история смены господствующих образов. Миф, рождавшийся из плоти земли и крови предков, опирался на метафору, как на единственную форму истины. Бог — свет, мир — дерево, душа — птица. С приходом науки метафоры не исчезли, они лишь переоделись. Энергия стала потоком, время — стрелой, разум — машиной. В каждом новом веке одна метафора уступала место другой, но сама необходимость думать через образ оставалась неизменной. Метафора не покидала разум — она лишь меняла одежду, продолжая быть тайным двигателем мысли.

ГЛАВА ВТОРАЯ. МЕТАФОРА КАК ИНСТРУМЕНТ КАТЕГОРИЗАЦИИ

Когда речь идёт о понимании мира, метафора выступает не просто выразительным приёмом, но основным способом упорядочивания опыта. Подобно старинной матрице, в которую вдавливают сырой материал, она придаёт форму хаосу, превращая неоформленное множество в различимые потоки. Слово «река» — один из древнейших образов, на который человеческое сознание положилось с редкой уверенностью. Через него пытались осмыслить и движение времени, и приливы человеческих чувств, и циркуляцию богатства, и перемещения масс, и даже распространение света и тепла. Разнородные явления, почти не связанные по своей природе, собирались под этим знаком в единое смысловое поле, где движение становилось основным принципом.

Такое соединение не было произвольным. В каждом подобном переносе действовала сила когнитивной компрессии — неуловимая, но настойчивая необходимость сжать сложное в узнаваемое. Образ, однажды найденный, становился узлом, в который сходились нити разрозненного опыта. Метафора объединяла явления, которым не хватало общей логики, но которые разделяли одну интуитивно постигаемую структуру. Чувство, словно вода, накатывало волной. Время, подобно течению, несло вперёд. Деньги, как жидкость, текли или иссякали. Образ вбирал в себя разнородное, выравнивая различия, делая непохожее соотносимым.

В основе этого процесса лежала невидимая карта переноса, на которой различались схемы-источники и

области-цели. Один пласт опыта становился донором формы, другой — её новым носителем. Вода, обладающая понятным для всех движением, превращалась в структуру, по которой выстраивались отношения в тех сферах, где само течение было лишь метафорическим. Эта смена горизонтов не разрушала смысл, напротив — она придавала ему глубину. Знакомое становилось мостом к неосвоенному.

Однако такие переносы действовали не только по логике ума, но и по внутреннему, феноменологическому родству. Суть заключалась не в свойствах вещей, а в переживаемом чувстве их сходства. Не рациональное определение, но форма бытия, распознанная на уровне ощущения, делала возможным перенос. Жизнь, не поддаваясь исчерпывающему описанию, воспринималась как путь, потому что каждый шаг в ней сопровождался усилием и направленностью. Истина уподоблялась свету не за то, что она имеет длину волны, а потому что, как и свет, она рассеивает тьму и позволяет видеть. Грех ощущался как долг не из-за юридической точности, а из-за тяжести, которая ложилась на внутреннюю совесть.

Культура вбирала эти переносы, формируя невидимые таксономии, по которым люди мыслили неосознанно. Эти структурные метафоры не ограничивались художественным языком — они проникали в саму ткань мышления, задавая направление не только речи, но и действия. Каждый образ, однажды закреплённый, начинал диктовать новые способы понимать, чувствовать, выбирать.

Но в этом же заключалась опасность. Метафора, освободившая мысль, могла её же и сковать.

Закрепившись в языке и сознании, она переставала быть окном и становилась рамкой. Там, где раньше был путь к новому смыслу, теперь возникал коридор, ограничивающий движение. Образ, призванный соединять, начинал диктовать. И тогда требовалось новое усилие — выйти за пределы уже привычного сравнения, разрушить старую конструкцию, чтобы создать новую. Мышление, однажды обретшее свободу через образ, вновь оказывалось перед вызовом: найти свежую метафору, способную вместить изменившуюся реальность.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МЕТАФОРА КАК СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ

Мышление, если смотреть на него не как на череду абстрактных операций, а как на живой процесс, оказывается сродни зрению — но не тому, что фиксирует форму предмета, а тому, что вглядывается глубже, стараясь понять, чем одна вещь является по отношению к другой. Узнавание, понимание, открытие — всё это начинается с интуитивного акта уподобления. Мыслить — значит видеть нечто через призму иного, находя в одном форму, присущую другому. В этом простом, почти детском «что как что» скрыт корень любой концептуализации, от мифа до теоремы.

Внутренний строй мышления напоминает синтаксис, где элементы не существуют поодиночке, а соединяются по законам, напоминающим игру ассоциаций, взаимных замещений и дополнений. Смысл возникает не из единичного знака, но из того, как он входит в узор — как одна форма вызывает другую, как недостающее звено заполняется на основе предыдущих совпадений. Сознание, вбирая мир, не копирует его, а переиначивает, сводя разрозненное к повторяющимся контурам. Эти контуры — не что иное, как паттерны, на которые ложатся метафоры. Они становятся рамами, в которые вставляется непрерывный поток ощущений, структурируя его в осмысленную последовательность.

Даже нейронная ткань мозга, если наблюдать её в действии, проявляет склонность к метафоричности. Сеть, активизируясь в одних зонах и передавая импульсы в другие, не фиксирует реальность напрямую, а строит модели, постоянно соотнося настоящее с предыдущим опытом. Связи между нейронами — не просто провода, они живут повторениями, созвучиями,

пересечениями. В этом движении угадывается тот же принцип — мысль стремится не к прямому отражению, а к соотнесённости, к перекрёстному узнаванию.

Целые культуры, развиваясь, формируют свои ведущие метафоры, которые становятся не только отражением времени, но и инструментом его формирования. Одни цивилизации строили своё понимание мира вокруг образа великого тела — с сердцем в центре, сосудами рек и кожей границ. Другие предпочитали метафору текста, где всё существующее мыслилось как письмо, требующее расшифровки. Трети воспринимали бытие как механизм, подчинённый точной настройке. Каждая эпоха рождала свою главную фигуру мышления, и, меняясь, она смещала акценты восприятия. Мир оставался тем же, но оказывался увиденным иначе.

Научные революции, при всей своей строгости и доказательности, рождались не столько из новых фактов, сколько из нового взгляда. Внезапное превращение космоса из музыкального хора сфер в безмолвное движение масс, переход от неподвижной Земли к вращающемуся миру, от эфирной среды к пустоте пространства — всё это были не только открытия, но и смена образов. Новый мир не вытеснял старый логикой — он переосмыслил его, внедряя иную метафору. Именно образ делал возможным расчёт, именно новая фигура давала формулу.

Логика, по сути, была только очищенной, рафинированной формой этой древней способности. В ней метафора теряла тело, обнажалась до скелета. То, что раньше двигалось, дышало, имело плоть, становилось системой знаков, превращалось в правило. Но искусство — его вечный антипод — возвращало телесность образу,

возвращало чувственную форму. Оно не противопоставляло себя мышлению, а напоминало ему его начало. Там, где наука поднималась вверх, освобождаясь от образов, искусство вновь погружалось в них, извлекая из плотных слоёв культуры забытые фигуры смысла. В этом колебании между схемой и телом, между структурой и живым образом, и происходило настоящее мышление — как бесконечный процесс, в котором видеть значит постоянно видеть заново.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ИСТОКИ И ЛИНИИ ТРАДИЦИИ

Метафорическое мышление не возникло на пустом месте и не было капризом отдельных эпох. Оно уходит корнями в самые ранние формы осмысления мира, когда слово ещё не отделялось от пения, а мысль — от образа. Уже в строках Гомера мерцало это первородное слияние. Там, где буря — это дыхание божества, где корабль — живая тварь, рассекающая грудь моря, начинался путь, который пройдёт через века. Гераклит, осмысливая логос, говорил языком огня и потока, не разделяя реальность и её образ. Его речь полнилась внутренней напряжённостью, где каждое понятие дышало двойственностью и переходом. Аристотель, указывая на метафору в «Поэтике», признавал её не просто украшением речи, но признаком проницательности ума — способности видеть общее в различном. Уже тогда метафора выходила за пределы риторики и становилась способом мышления.

С Возрождением открылась новая линия — органика образа вступала в союз с натурфилософией. Мир воспринимался как живое целое, каждая его часть — как проявление единой жизненной силы. Метафора возвращалась не как стилистика, но как необходимый язык новой чувственности. Земля становилась телом, небо — разумом, растения — буквами таинственного письма. Художник и естествоиспытатель пользовались одним и тем же зрением, различая структуру в узоре венчика или строении анатомии. Здесь образ не просто сопровождал науку — он предшествовал ей, направлял её взгляд, служил моделью открытий.

В эпоху Просвещения метафора оказалась между двумя полюсами: она то сводилась к механизму, где всё

мыслилось как взаимное сцепление частей, то вновь поднималась до уровня организма — самодвижущейся, дышащей целостности. В напряжении между этим двумя образами развивалось не только искусство, но и сама наука, которая, несмотря на стремление к чистоте, не могла полностью отказаться от образной схемы. Даже рационализм, отрицающий метафору как туманность, невольно ею пользовался, говоря о свете разума, законах природы, природе человека.

Романтизм, напротив, с решимостью вернул образу его законное место. Он не просто реабилитировал метафору, но сделал её центральным нервом мышления. Символ перестал быть шифром и сделался внутренней формой — живым выражением связей между явлениями. XIX и XX века продолжили эту линию, придавая ей новые очертания. Символизм стремился не к названию, а к наитию, феноменология искала в образе данность опыта, а аналитическая философия, даже отрицая образное, всё же использовала его в логических построениях. Да и сама структура языка, исследуемая заново, обнаруживала в себе следы древних образов, осевших в грамматике и лексике.

Современная когнитивная лингвистика, возникшая на стыке философии, нейронаук и лингвистики, словно вдохнула новую жизнь в метафору. Её не просто признали частью языка — её стали видеть как ткань самого мышления. Метафора перестала быть вторичной. Она предстала как первичная форма понимания, благодаря которой строится само восприятие мира, организуются категории, формируются ментальные модели. В этом смысле когнитивная лингвистика стала не просто наукой, но актом возвращения к древнему

знанию, преломлённому сквозь современные методы.

Так возникло новое сознание себя — не как исследователя, стоящего вне предмета, но как продолжателя традиции, идущей от натурфилософов, поэтов, мистиков. В постнаучную эпоху, когда вера в абсолютную объективность пошатнулась, мысль вновь обратилась к образу, не как к украшению, а как к основанию. Мыслить образами — значило продолжать линию, в которой мир и слово никогда не были разъединены. В этом наследии скрывалась не только память о прошлом, но и возможность нового способа видеть.

ГЛАВА ПЯТАЯ. ДОНАЛЬД ДЭВИДСОН: ТЕЗИС И МОТИВАЦИЯ

На рубеже шестидесятых годов, в атмосфере философской строгости, где каждое высказывание подвергалось проверке на логическую прозрачность, прозвучал голос, стремившийся вернуть мысль к действию, а не к созерцанию. Дональд Дэвидсон, погруженный в контекст аналитической философии, заявил нечто, что показалось еретическим в отношении господствующих представлений о языке: метафора ничего не значит. Она не сообщает скрытого второго содержания, не открывает таинственной глубины, не требует расшифровки — она просто действует. Её сила — не в дополнительном значении, а в том, что она вызывает.

Такое утверждение сдвигало саму плоскость анализа. Вместо того чтобы искать метафорическое «значение» в семантической глубине, Дэвидсон предложил перенести фокус внимания на употребление. Метафора переставала быть предметом интерпретации, она становилась событием в языке. Не нужно выяснять, что именно она «говорит» — важнее наблюдать, что она делает с мышлением, как изменяет восприятие. Этот сдвиг от содержания к действию, от описания к воздействию, рождал новую прагматическую оптику, в которой язык уже не хранил смыслы, как сундук — драгоценности, а порождал их в момент соприкосновения с живым контекстом.

В этой позиции слышалась отчётливая борьба с мистификацией. Дэвидсон стремился отрезать у метафоры те тени, которые придавали ей ореол загадочности, но в то же время лишали её конкретной

силы. Он отказывался от идеи второго смысла как от излишней двусмысленности, предпочитая ясно обозначенное поле действия. Метафора не должна быть тайной, её не нужно вскрывать, будто она запирает смысл в двухмерном слое. Она не спрятана под обычным значением — она разрывает его, меняет угол зрения, предлагает иную конфигурацию видимого.

Такой подход не мог возникнуть вне определённого философского климата. Аналитическая философия языка, сформировавшаяся после Витгенштейна и укрепившаяся в англоязычном мире, стремилась очистить язык от путаницы, возникающей при смешении разных уровней описания. Истина в этом контексте понималась как свойство высказывания, а не образа. Высказывание должно было быть подотчётным логике, верифицируемым или опровергаемым. Образ, напротив, ускользал, провоцировал на интерпретации, которые невозможно было строго оценить. Именно поэтому метафора, с её двойной перспективой, казалась опасной — она вносила шум в систему, где каждый элемент должен был быть прозрачен.

Дэвидсон не искал компромиссов. Его отрицание было не жестом разрушения, но провокацией. Заявляя, что метафора не имеет смысла, он подталкивал мысль к описанию, каким же образом она тогда воздействует. Если не значение, то что? Если не толкование, то что остаётся? В этих вопросах начинался новый поворот. Отрицание становилось методом,зывающим к жизни более точный анализ действия, более пристальное вглядывание в сам момент взаимодействия с образом. В этом и заключалась польза его подхода: отбросив старые объяснения, он освободил место для более глубокого

понимания механики метафоры как акта, а не как объекта.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ДЭВИДСОН: АРГУМЕНТЫ, ПРИМЕРЫ, ЛОГИКА

Аргументация Дональда Дэвидсона, при всей своей кажущейся лаконичности, опиралась на стройную внутреннюю логику, выстроенную с хирургической точностью. Отправной точкой служил отказ признать у метафоры наличие так называемого второго смысла — не потому, что такого эффекта вовсе нет, а потому, что язык анализа не способен удержать его в границах истины. Если смысл предполагает возможность истинностной оценки — если каждое высказывание должно быть либо верным, либо ложным, — то метафора, по самой своей природе, оказывается вне этой системы. Нельзя сказать, что утверждение «время — это река» истинно или ложно в том же смысле, в каком проверяется утверждение «вода кипит при ста градусах». Метафора не опровергаема и не подтверждаема, а потому не принадлежит сфере смысла в логико-семантическом понимании.

Именно в этом различии между знанием и восприятием, между понятием и эффектом, Дэвидсон видел суть феномена. Воздействие метафоры сродни перцептивному толчку, мгновенному изменению конфигурации видимого. Оно не объясняет, а поворачивает взгляд. Не предлагает информацию, а перестраивает систему координат, в которой эта информация вообще может обрести форму. Поэтому она не сообщает второе содержание, а создаёт возможность видеть иначе. Этот акт ближе к восприятию искусства, чем к сообщению знания, и поддаётся не объяснению, а проживанию.

Такое понимание напрямую связано с проблемой

переводимости. Если смысл должен быть доступен в любой языковой среде, поддающейся переводу, то метафора, как носитель якобы второго смысла, оказывается в ловушке: её эффект трудно воспроизвести без утраты того самого движения, которое она вызывает. Для Дэвидсона это служило подтверждением его тезиса: единственным общедоступным слоем в любом метафорическом высказывании остаётся его буквальный смысл. Всё остальное — следствие употребления, культурного фона, индивидуального опыта восприятия. И потому метафора — это не новая единица значения, а особая форма использования языка.

В этом заключалась трезвость его подхода, противопоставленного эзотерическим тенденциям, склонным окружать метафору туманом недосказанности. Разделение истины и воздействия становилось философским актом очистки: истина принадлежит высказыванию, воздействие — метафоре. Нечего искать в ней скрытые смыслы; она не шифр, а стимул, не сосуд, наполненный тайной, а приём, запускающий процесс мышления. В этом отношении даже самые древние формулы — вроде «время есть река» — поддаются анализу только на уровне буквального содержания. Всё, что происходит дальше, принадлежит не языку, а взаимодействию с ним. «Время — река» — это не утверждение о природе времени, а приглашение пережить его текучесть. Но само приглашение не создаёт нового смысла — оно переориентирует восприятие.

Подводя черту, Дэвидсон настаивал: метафора не раскрывает таинственного слоя значения, она не второе высказывание под первым. Она — разновидность действия в языке, его особый способ употребления. В

этом отказе видеть в метафоре содержание заключалось не обесценивание, а стремление вернуть ей подлинную силу: силу менять мышление не через объяснение, а через формообразующее столкновение.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ПОЧЕМУ ДЭВИДСОН ВАЖЕН И ИЗВЕСТЕН

В философии, как и в других формах размышления о мире, ценится не только способность предложить яркое объяснение, но и умение очистить поле мышления от путаницы, вернуть высказываниям ясность и подотчётность. Дональд Дэвидсон занял в этом ряду особое место, став своего рода стражем дисциплины мысли. Его подход не стремился расширить границы интерпретации — напротив, он отстаивал необходимость проверяемости, настаивал на различении между тем, что можно оценить в терминах истины, и тем, что работает иначе. За этим стояло не стремление обеднить язык, а желание сохранить его внятность. Высказывание должно быть ясным в своих притязаниях, доступным в своей логике, не претендующим на смысл, которого нельзя предъявить.

Такое требование рождалось не из догматизма, а из глубоко анти-релятивистской позиции. Дэвидсон защищал возможность взаимопонимания не потому, что верил в универсальные истины, а потому что отказывался от идеи «тайных смыслов», недоступных внешнему взгляду. Он стремился удержать язык в пределах общего пространства, где каждый может участвовать в интерпретации без необходимости приобщаться к некоему эзотерическому знанию. В этом виделся мост, переброшенный от субъективного переживания к публичному обмену. И в этом мосту заключалась философская вера: то, что сказано, должно быть доступно в своих последствиях.

Его влияние вышло за рамки одной дисциплины. В теории интерпретации он стал фигурой, которая

напомнила о границах: не всё, что вызывает отклик, имеет смысл; не всё, что воздействует, может быть названо знанием. В философии действия его работы о намерении, причинности и понимании сделали возможным новый способ говорить о действиях не как о внешних событиях, но как о высказываниях с логической структурой. Отрезвление, которое он предложил, касалось не только метафоры, но и самой формы мышления о действии — требуя различать, уточнять, удерживать разницу между тем, что делается, и тем, что об этом можно сказать.

Это стремление к ясности становилось противовесом герменевтическим безднам, где каждый текст превращался в безграничный источник интерпретаций, а любое слово — в знак глубин, недоступных общему пониманию. Дэвидсон не отвергал глубину, но считал необходимым различать глубину восприятия и ясность высказывания. Его философия не отрицала сложность, но настаивала на том, что она должна быть описуема без утраты логической формы. Тем самым он возвращал мышлению определённую трезвость, столь необходимую, когда язык склонен увлекаться собственной многозначностью.

Для лингвистики и философии языка его подход стал источником методологической строгости. Отказ от романтизации образа, защита прозрачности смысла, разделение между содержанием и эффектом — всё это сделало возможным разговор о метафоре в терминах действия, а не только значения. Язык, благодаря его усилиям, вновь стал средством взаимодействия, а не лабиринтом интерпретаций. В этом заключалась не догматическая строгость, а попытка сохранить

возможность точного разговора.

Но, быть может, важнейшая историческая роль Дэвидсона заключалась в том, что он сыграл роль своеобразного анестезиста — он приглушил метафору, чтобы заставить увидеть, как она действует. Его отрицание не уничтожило образ, а, напротив, обнажило его силу. Вне мистики, вне таинственности, метафора оказалась действием, жестом, толчком. И, лишившись статуса носителя тайного смысла, она приобрела новое значение — как форма, способная менять взгляд, не сообщая ничего напрямую. Так философия, убрав нарости, обнаружила в метафоре не меньшее, а больше: не сокровище, скрытое под смыслом, а саму способность языка запускать мышление.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ГРАНИЦЫ ПОДХОДА ДЭВИДСОНА

Трезвость философии Дональда Дэвидсона, при всей её методологической силе, имела и свою оборотную сторону. Стремясь очистить дискурс от туманных претензий на неуловимые смыслы, он сводил метафору к акту восприятия, рассматривая её не как носителя знания, а как стимул, запускающий перемену взгляда. Однако в этом упрощении оказывались обойдёнными вниманием те глубины, в которых метафора не просто действует, но формирует, не только толкает к осмыслению, но и создаёт сами формы мысли. Сведение смыслообразования к перцептивному эффекту не позволяло учесть того, что метафора часто является не производной от восприятия, а его источником — тем, через что человек учится видеть и различать.

Особенно ощутимо это упрощение проявлялось в игнорировании генеративной роли метафоры в науке и обыденном опыте. Дэвидсон описывал действие образа, но не видел в нём способности задавать рамку, внутри которой возникает новое знание. Когда научная теория уподобляет пространство ткани, а информацию — потоку, она не просто украшает речь — она создаёт новую систему понятий. Метафора в таких случаях перестаёт быть литературным жестом или стимулом внимания: она становится началом концептуализации. Именно здесь подход, нацеленный на воздействие, не охватывал всей полноты явления. Он рассматривал уже свершившееся, но не объяснял механизмы рождения самого понятийного поля.

Упуская это измерение, философия Дэвидсона теряла онтологическую глубину. Метафора — не только приём речи, но способ бытия в мире. Через образ не просто

интерпретируется действительность, но формируются категории, по которым она делается доступной восприятию. Мысль не отделена от языка, и язык не лишён силы формировать то, что кажется внеязыковым. Когда говорится, что человек идёт по пути, не совершается просто перенос смысла — вводится структура, в которой вся жизнь получает форму, логику, направленность. Подобные метафоры не описывают действительность — они определяют, какой она будет для того, кто в ней живёт.

В этом же ряду остаётся незамеченной и культурная таксономия — глубинные структуры, в которых метафоры служат классификацией мира. Представления о добре как о свете, о грехе как о бремени, о времени как о деньгах не являются частными случаями риторики: они задают устойчивые схемы понимания, закреплённые в языке, поведении, институте. Подход, исключающий такие схемы из области значения, обедняет культурную реальность, сводя её к индивидуальному впечатлению. Но метафора, встроенная в коллективный опыт, не ограничивается перцепцией. Она упорядочивает бытие.

Такое упрощение влечёт за собой семантическую стерилизацию языка. Живой образ, вынесенный за скобки значения, перестаёт рассматриваться как носитель познавательной силы. Он становится лишь риторическим средством, хотя на деле является носителем когнитивного напряжения, способным не только вызвать реакцию, но и изменить структуру понимания. Исключив этот аспект, философия отказывается от богатства живого языка, заменяя его системой функциональных реакций.

В итоге подход Дэвидсона, при всей своей

методологической строгости, оказывается полезным как инструмент отсева — он позволяет прояснить, где кончается значение и начинается воздействие. Но именно в этой строгости чувствуется недостаток глубины. Упрощая метафору до действия, он оставляет без внимания её роль в формировании культурных форм, категориальных структур, научного воображения. Там, где нужна не только ясность, но и полнота, его философия оказывается лишь одной из граней.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ОБЩАЯ КРИТИКА И АЛЬТЕРНАТИВЫ

Там, где Дональд Дэвидсон стремился удержать границы смысла, ограничив метафору её воздействием, другие мыслители искали в образе не временное и перцептивное, а устойчивое и формообразующее. Их подходы не отвергали точность, но предлагали расширить рамки, в которых действует метафора. Один из самых влиятельных голосов в этом ряду — Макс Блэк, для которого метафора становилась не единичным актом восприятия, а взаимодействием двух смысловых систем. Его интеракционизм исходил из того, что в метафоре не один термин украшает другой, а оба вступают в перекрёстное освещение, где один открывает скрытые аспекты другого. Это не просто замена, а система импликаций, возникающих из столкновения. Перенос здесь был не внешним, а внутренним процессом, в котором рождается новое поле смыслов, не сводимое ни к одному из исходных элементов.

Пол Рикёр развивал этот подход, приближая его к герменевтической традиции, но избегая неопределённости. Для него метафора — не замещение, а акт, творящий новый смысл. Она не указывает на нечто второе, спрятанное, а создаёт реальность, которая прежде не была артикулирована. В «живой метафоре» Рикёр видел не эффект, а работу воображения, в которой открываются новые возможности интерпретации. Метафора становилась способом выхода за пределы буквального, но не в сторону тумана, а в направлении новой артикуляции опыта, прежде невозможной. Это не была мистика — это был акт порождения.

Особую роль в переосмыслинении метафоры сыграли Джордж Лакофф и Марк Джонсон, предложившие

рассматривать её как фундаментальную структуру мышления. Их теория концептуальных метафор утверждала, что метафора — не украшение речи, а способ, которым сознание организует опыт. Мысль не просто выражается образами — она изначально устроена как система переносов, где одни области опыта структурируют другие. Времени приписываются черты пространства, эмоциям — физическая направленность, жизни — форма пути. Эти переносы не случайны и не индивидуальны — они формируют коллективное мышление, делая метафору не событием, а каркасом.

Мэри Хессе, исследуя природу научных моделей, показала, что даже строгая наука немыслима без образных структур. Модель, по её наблюдению, не просто описывает, она переносит черты одной системы на другую, выявляя аналогии, позволяющие делать открытия. Это делает метафору не только когнитивным инструментом, но и эпистемологическим механизмом: она задаёт, что можно увидеть в объекте, а значит — какие вопросы к нему можно поставить. Наука, при всей своей логике, движется не вдоль фактов, а вдоль образов, которые структурируют сами возможности мышления.

Ричард Рорти и Нельсон Гудман шли ещё дальше, утверждая, что сам мир не существует вне языка — он сделан, сконструирован, нарисован словом. В этой радикальной версии конструктивизма метафора переставала быть внешним воздействием и становилась инструментом миротворчества. Язык не просто отображал реальность, он её создавал. В каждой новой метафоре появлялся новый мир — не в смысле фантазии, а как возможность воспринимать и действовать иначе. Здесь исчезало само противопоставление между

смыслом и эффектом: смысл рождался в акте переноса, в столкновении старой структуры с новым контекстом.

Именно в этом снятии оппозиции — между значением и действием — заключалась важнейшая альтернатива. Метафора не просто либо сообщает, либо трогает. Она сообщает через трогание. Она действует не как внешняя сила, а как внутренняя перестройка. В этом единстве жеста и рождения смысла критика Дэвидсона находила свою полноту. Его полезная осторожность, граничащая с аскезой, нуждалась в продолжении — в тех, кто увидел в метафоре не только язык, но и мышление, не только акт, но и форму бытия.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МЫСЛИТЕЛИ ЦЕЛОГО: ДЕКАРТ, КАНТ И НАТУРФИЛОСОФИЯ

Когда философия ещё не знала границ между человеком, миром и мышлением, когда разум не дробился на дисциплины, а стремился обять всё сразу — от движения планет до закона сердца, от устройства глаза до природы времени — рождался особый тип мышления, для которого образ был не иллюстрацией, а внутренним стержнем познания. Эта энциклопедическая смелость, противопоставленная поздней дисциплинарной узости, определяла фигуры, чьё влияние не мерилось только точностью выводов, но силой целостного замысла. Декарт и Кант, каждый по-своему, стремились не разложить реальность на элементы, а выстроить её как единое тело, где всё связано и пронизано — от души до материи, от логики до метафизики. Их философии не замыкались в языке, как у Дэвидсона, и не стремились отделить воздействие от смысла. Напротив, они исходили из того, что мыслить — значит соотносить, а соотносить — значит оформлять, придавая разрозненному живую структуру.

У Декарта не было страха перед метафорой: его знаменитое сравнение тела с машиной не было просто удобной аналогией — это был принцип организации целого. То же касалось космоса, который мыслится у него как упорядоченное устройство, движущееся по законам, доступным разуму. Метафора не скрывала истину — она делала её обозримой. У Канта это стремление приобрело новую форму: рассудок, чувственность, мир как он есть и как он дан — всё это вплеталось в систему, где мысль была и архитектором, и участником. Его априорные формы, пространство и время, — не просто категории анализа, но живые

конструкции, через которые возможно восприятие. И сами они были не чем иным, как метафорами, настолько фундаментальными, что стали невидимыми.

В рамках этих проектов тело, разум и космос существовали не параллельно, а в одном континууме. Философия не отворачивалась от природы, но вглядывалась в неё как в зеркало собственных структур. Метод — будь то механистический у Декарта или трансцендентальный у Канта — не был противоположен натуре, он был её способом осознания. Метафора здесь не сопровождала метод, а направляла его: позволяя, к примеру, описывать познание как строительство, а мораль как путь. За каждым понятием стоял образ, и именно он делал мысль движущейся.

Когда в поздней натурфилософии произошёл поворот — от жёсткой механики к представлению о морфогенезе, о становлении форм, а не их фиксированной сборке — изменилась и образная ткань мышления. Мир перестал быть часами и стал организмом, не машиной, но потоком становления. Здесь метафора уже не подсказывала структуру — она воплощала саму возможность видеть развитие. Описание превращалось в слежение за линией роста, понимание — в чтение движения. Так мыслили нераздельно: в науке, в искусстве, в философии.

Без природы философия начинала выдыхаться. Утратив мир как источник форм, она превращалась в игру в пределах языка, в пересборку уже известных схем, в стерильное следование логике без вдохновения. Но там, где мысль продолжала вбирать в себя дыхание земли, ритмы тел, очертания форм, она сохраняла силу — не только описывать, но и создавать.

Именно здесь рождается необходимость манифеста

целостности. Не как декларации возврата к прошлому, но как напоминания о правах образа, о его способности соединять разные слои реальности в одно поле. Мыслить — значит не только отделять и разъяснять, но и связывать. В эпоху, когда философия боится образа, потому что не может его верифицировать, именно метафора возвращает ей дыхание. В этом — не возвращение к донаучной наивности, а путь вперёд: туда, где формы мысли вновь растут из тела мира.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. МЕТАФОРА В НАУКЕ: ФИЗИКА

Физика, несмотря на свою строгость, по сути своей строится на метафорах — не как на шутках, не как на риторических украшениях или временных упрощениях, но как на серьёзных попытках ухватить форму невидимого. Её язык полон образов, которые одновременно ведут мысль и сбивают её с пути, дают направление и, подчас, уводят в ложную перспективу. Эти образы не просто сопровождают теории, но составляют саму их ткань, оказываясь фундаментом, на котором строится объяснение. Метафора здесь — не довесок к формуле, а замысел, который делает формулу возможной. Но в том же кроется и парадокс: почти ни одна из этих метафор не выдерживает прямого смысла. Чёрная дыра не является ни дырой, ни чёрной в обыденном понимании; тёмная материя — скорее всего, вовсе не материя; электрон не вращается по орбите, и уж точно не облаком — хотя именно такие образы позволяют сначала увидеть, а потом вычислить.

Когда говорят о «цепной реакции», представление автоматически вызывает картину разлетающихся звеньев, одно из которых запускает следующее. Однако в ядерной физике никакой цепи нет. Есть причинная структура, развивающаяся во времени, где распад одного ядра создаёт условия для распада другого. Метафора цепи помогает ухватить ритм и направленность процесса, но она не описывает его буквально — она задаёт фигуру мысли, в которой становится возможным моделировать развитие.

Точно так же «орбита» электрона — наследие модели планетарной системы — находит своё место в языке,

несмотря на то, что поведение элементарных частиц давно уже не поддаётся такой схеме. Электрон не вращается вокруг ядра, как Луна вокруг Земли. Он существует в форме распределённой вероятности, которую, чтобы хоть как-то вообразить, называют «облаком». Это облако — не атмосферное явление и не пыль, а образ, который позволяет мыслить присутствие в отсутствии, распределённость вместо локализации. Метафора работает не как пояснение, а как временное приближение к тому, чего ещё не хватает в понятийном аппарате.

«Поля» — ещё один пример, в котором слово, пришедшее из сельской жизни, сохраняет образ даже в самых абстрактных уравнениях. Поле, прежде означавшее пространство действия — пашню, равнину, область влияния, — стало метафорой для распределённой силы, пронизывающей пространство. Это слово позволяет удерживать мысль о влиянии без физического носителя, о действии без контакта. Без него невозможно было бы говорить о гравитации, электромагнетизме, взаимодействиях, не имеющих точки приложения, но ощущимых в результате.

«Чёрная дыра», «кварковый цвет», «симметрия» — всё это не просто термины, но культурные коды, где научная идея сплетается с эстетикой, воображением, даже с мифом. Цвет у кварков не имеет никакого отношения к зрительному восприятию; он введён как схема разграничения, аналогия, помогающая построить математическую структуру. Симметрия, заимствованная из искусства и архитектуры, стала категорией, определяющей законы сохранения и инвариантности. Эти образы проникают в язык науки не по недосмотру, а

потому что без них мышление оказывается обезоруженным. Модельное мышление в физике — это не описание как есть, а постоянное «как если бы». Именно такая форма позволяет строить теорию: не утверждать, а моделировать, не доказывать напрямую, а обрисовывать границы возможного.

Каждая великая революция в науке сопровождалась сменой образов. Классическая физика мыслила через метафору часов — точного, замкнутого механизма, где все элементы подчинены единой передаче. Эйнштейновская теория привнесла иной образ — ткань пространства-времени, изгибающуюся под массой. Квантовая механика породила ещё более радикальный образ — квантовый театр, где частицы ведут себя как актёры, играющие разные роли в зависимости от сцены наблюдения. Это уже не просто метафора, это модель мышления, в которой соединяется вероятность, наблюдение, выбор.

Физика продолжает расти внутри этих образов — корректируя их, заменяя, отвергая, но никогда не избавляясь от них окончательно. Даже самые абстрактные теории, сводимые к символам и уравнениям, не обходятся без подспудного зрительного или пространственного сопровождения. Мышление, даже в своей предельной точности, остаётся телесным, зрительным, образным. И в этом смысле метафора — не ошибка и не украшение, а неизбежное условие любой научной работы, где воображение не противостоит знанию, а делает его возможным.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. МАТЕМАТИКА КАК ОЧИЩЕННАЯ МЕТАФОРА

Если метафора в физике всё ещё сохраняет след реального, чувственного мира, если она вплетена в речь, наполненную образами — то в математике она как будто исчезает, оставляя после себя только скелет, только форму. Однако это исчезновение — не утрата, а очищение. Математика не отвергла метафору, она превратила её в язык, где от образа осталась только его логическая структура, лишённая плотности, но не смысла. Каждое понятие в математике — будь то «точка», «прямая», «множество» — несёт в себе след переносного происхождения. Точка, которой нельзя коснуться; прямая, которую нельзя нарисовать; множество, которого нельзя представить — всё это не вещи, но символы, в которых действуют законы переноса. Здесь язык обходит видимое, но не теряет своей образной природы.

Математика как будто говорит с миром на языке без предметов, но именно эта беспредметность делает её способной проникать в то, что иначе неуловимо. В комплексных числах, в самой идее мнимой единицы заключено почти поэтическое усилие разума — позволить себе мыслить невозможное, чтобы овладеть реальным. Когда из отрицательного числа извлекается корень, появляется не результат, а новый способ понимать операцию. Воображаемое становится частью вычисления, и тем самым входит в структуру мышления. Это не фантазия, не обман, а форма — допустимая, точная, но родившаяся из образного смещения.

Всё, что кажется в математике абстрактным, на самом деле связано с перенесением. Речь идёт не о вещах, а об

отношениях. Именно они и становятся основным содержанием. Группы, категории, пространства, функции — всё это способы описания не объектов, а взаимодействий. И эти взаимодействия устроены так, будто переносятся из одной области в другую, оставаясь самими собой. Сама структура становится содержанием. Отношения заменяют материю, и именно это делает математику способной говорить о всём.

Формализация в этом контексте предстает не как отрицание образа, а как его аскеза. Всё чувственное удалено, оставлена только форма. Как в поэзии, где смысл рождается из точной скрупульности, в математике каждый знак — результат высказывания, из которого ушло всё лишнее. Но эта строгость не отрицает метафору — она доводит её до крайней степени. Теоремы, аксиомы, доказательства — это не просто рассуждения. Это стабилизированные переносы, в которых закреплены формы мышления, прошедшие путь от образа к понятию, от понятия — к структуре, а от структуры — к универсальной применимости.

Благодаря этой способности удерживать невыразимое, математика обращается к бесконечности. Но она не растворяется в ней, не теряется — она фиксирует её в форме. Бесконечное множество, предел, производная, топология — всё это попытки схватить то, что выходит за границы опыта, и сделать его предметом мысли. Здесь метафора достигает своей наивысшей точки: она не просто обозначает, она превращает невозможное в необходимое.

В математике метафора не исчезает — она становится прозрачной, почти невидимой, но без неё невозможен ни один шаг. Это язык, в котором мысль переходит границу

и остаётся точной. Математика не отвергает воображение — она делает его строгостью. И в этом состоит её мощь: быть метафорой, очищенной до сущности.

Парадоксально, но именно математика — дисциплина, кажущаяся вершиной абстракции и лишённости образов, — указывает с предельной ясностью: неметафорическое мышление невозможно. В ней, где каждое понятие очищено от чувственности, где строгие знаки выстроены в безукоризненные цепи рассуждений, именно здесь обнаруживается тайная, но неистребимая зависимость от образа. Не от случайной аналогии, не от риторического приёма — а от самой способности мыслить одно через другое, видеть отношение, прежде чем зафиксировать определение. Математика раскрывает, что мышление — это всегда перенос, всегда движение от известного к неизвестному, через мост, который строится из метафоры.

В самом акте введения понятия — «точки», «оси», «предела», «сечения», «отображения» — уже действует образ, пусть и лишённый материальности. Он не рисуется, но направляет мысль. Без этого направления не возникает ни структуры, ни операции. Когда математика говорит о кривизне пространства, об измерениях за пределами трёх, о топологическом преобразовании, — она апеллирует не к непосредственному восприятию, а к способности вообразить, что не может быть увидено. А значит — к метафоре как к форме мысли, способной удерживать то, чему нет прямого эквивалента в опыте.

Даже самые строгие понятия, оторвавшись от чувственного, сохраняют свою образную родословную. Без неё они теряли бы направленность, становились бы

хаосом абстракций. Метафора здесь — не объяснение, а архитекторика мышления. Именно она позволяет связать между собой разнородные участки теории, увидеть в алгебраических структурах геометрические смыслы, перевести сложность в плоскость, разложить бесконечность в ряды. Эти переходы — не просто технические операции, но акты воображения, скрытые за формальными знаками.

А главное — сами формы доказательства оказываются закреплёнными метафорами. Они удерживают не только истину, но и способ её мыслимости. Теорема — это не только то, что доказано, но и то, как это было увидено. Математика, как ни одна другая область, демонстрирует: мышление не сводится к выверенному выводу, оно начинается с переноса. С той первичной способности видеть структуру там, где её ещё нет. С возможности сказать: пусть это будет *как если бы* — а уже потом перейти к строгому построению.

Именно поэтому попытка мыслить без метафоры не просто бедна — она невозможна. Там, где исчезает образ, исчезает направленность мысли. Математика не противоречит этому — она его подтверждает. Она есть дисциплина, в которой метафора доведена до формы, очищена, формализована, но при этом не упразднена. Она не перестаёт быть метафорой, она становится её зрелым видом.

И в этом открывается принципиальное утверждение: мыслить — значит переносить. Видеть соотношение, где *ещё нет имени*. Строить мост между смыслами, которых не соединяла логика. Математика доказывает это без лишних слов. Она не рассуждает о метафоре — она ею становится.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ПРОТОМЕТАФОРЫ

Метафорическое мышление в своей развитой, речевой форме принадлежит человеку, но его истоки уходят гораздо глубже — в ту доязыковую плоть восприятия, где связь между вещами ещё не называется, но уже переживается. У животных, лишённых артикулированной речи, наблюдаются формы поведения, в которых угадываются прообразы метафоры, или, точнее, протометафоры — действия, основанные на переносе, на телесной аналогии, на распознавании в одном — черт другого. Эти формы ещё не осознаны, но уже действуют как организующие принципы восприятия и реакции.

Простейшая охотничья игра у детёнышей хищников, в которой одно существо прыгает, подкрадывается, отступает, — не копирует поведение взрослого охотника буквально. Это *игра в охоту*, но не охота. Здесь закладывается та форма отношения к действию, в которой одно становится *как другое*. В таких действиях уже проявляется способность отделить структуру от содержания: нападение — не всерьёз, но по форме; укус — не ради вреда, а ради отработки. Это «как если бы» ещё не названо, но уже телесно пережито. Тело ребёнка-льва учится через метафору, не осознавая этого. В этом скрыта первая ступень образного переноса: смысл ещё не выражен, но форма уже выделена.

В животном поведении можно наблюдать и более тонкие формы замещения, когда один объект подменяет другой — не из-за обманчивости, а из-за функционального сходства. Игрушка заменяет добычу, палка — партнёра по игре, место — статус. Это не осознанное сравнение, но действие, построенное на аналогии. Поведение

переносится с одного предмета на другой, и это перенос — уже не рефлекс, но элементарная структура осмыслиения.

Социальные формы взаимодействия у млекопитающих — особенно у приматов — полны жестов, которые несут значение, хотя не оформлены словами. Поза, взгляд, отведённая морда, обнажение зубов, ритуализованные удары — всё это *знаки* в доязыковом смысле. Они не описывают, а действуют. Покорность или угроза не объясняются, но воспроизводятся через тело, через повторяющуюся форму, в которой животное распознаёт структуру отношений. Эти формы — ещё не метафоры, но уже система образных сигналов, где смысл возникает из сравнения и замещения.

Главное отличие здесь — в отсутствии рефлексивной речи. Животное не говорит: *это — как то*, оно не называет сходство, но действует внутри него. Оно не строит знаковую систему, но пользуется телесной аналогией как способом навигации в мире. Этому опыту недостаёт прозрачности: внутренний язык животного остаётся закрытым. Нельзя реконструировать, как именно воспринимается сходство, нельзя описать, насколько сознательно происходит перенос. Однако сам факт действия, построенного на узнаваемом шаблоне, указывает: мышление уже движется вдоль образной оси, пусть и без понятий.

От животного к человеку тянется непрерывная линия — континуум, по которому телесная аналогия постепенно переходит в способность к вербализации. Человек не просто повторяет движения — он начинает называть их. Он улавливает форму и переводит её в речь. Жест становится словом, слово — символом, символ —

понятием. Но в основании этого процесса остаётся всё также способность видеть одно через другое, действовать, исходя из подобия. Метафора, прежде чем стать элементом языка, была способом движения в мире. И в этом смысле она — не изобретение культуры, а продолжение природы, тонкая надстройка над древней формой телесного узнавания.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. «МЕТАФОРИКА» НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Даже там, где, казалось бы, нет сознания, нет речи, нет намерения выразить или понять — в неживой природе — уже обнаруживается та самая внутренняя работа формы, которую мышление позже назовёт метафорой. Но здесь она ещё не именуется, не осознаётся, не превращена в слово. Она существует как повтор, как перенос структуры, как рифма между разнородными явлениями. Форма не просто повторяется — она переходит, перетекает, перекладывается из одного масштаба в другой, из одной среды в иную, оставляя после себя след, читаемый как аналогия, как непроизнесённое «это — как то».

Фракталы и самоподобие — примеры такой природной метафорики в её почти чистом виде. В них структура одного порядка воспроизводится на других уровнях: узор листа оказывается подобен очертаниям побережья, извилины горной тропы перекликаются с линиями русла реки. Эта повторяющаяся форма не копия и не калька — это способ природы удерживать принцип, не повторяя точных очертаний. Подобие здесь не механическое, а смысловое. Переход от одного масштаба к другому не разрушает образ, а, напротив, усиливает его, вплетая в универсальный ритм.

Такая же метафоричность скрыта в математической универсальности: одно и то же уравнение, описывающее движение жидкости, вдруг начинает работать в оптике, в акустике, в механике. Это не просто совпадение — это «рифма» явлений, в которой природа как будто повторяет одни и те же мотивы, варьируя их по условиям. Волны в воде, волны звука, волны

вероятности в квантовой теории — все они подчинены схожим структурам. Через эти перекрёстные закономерности природа «говорит» не буквами, но формой, не значениями, но сходствами. Она создаёт смыслы до всякой культуры, и именно потому культура узнаёт в ней родственную интуицию.

Кристаллы, молнии, разветвлённые русла рек — всё это примеры естественных структур, чья форма оказывается узнаваемой и воспроизводимой в иных контекстах. Молния и корневая система, бронхи и дельта — природа не повторяет, она варьирует. Её язык — это структурная аналогия, не привязанная к материалу. Это — метафора без речи. Но именно в этой безмолвной работе формы начинается то, что позже станет мышлением. Природа мыслит в нас потому, что мы — продолжение этой логики, доведённой до способности осознать.

Эволюция форм в природе — тоже не что иное, как серия переводов. Крыло — это преобразованная конечность. Чешуя — это переосмыщенная кожа. Орган превращается в другой орган, функция перераспределяется, прежняя структура становится основой новой. И здесь опять действует метафорический принцип: не копия, не обнуление, а перенос. Новое не отменяет старое — оно преобразует его, сохраняя ритм, узнаваемый ход, преемственность. Природа не создаёт с нуля, она переформулирует.

Человек, как часть этой цепи, продолжает её логику. Его речь, его образы, его наука — это продолжение той же самой метафорической работы, только перенесённой в сферу сознания. Он говорит словами, но формы, которыми он мыслит, уже заложены в мире до него. Его метафоры не оторваны от природы — они возвращают

её язык в культурное измерение. И в этом человек — не исключение, а заключение той бессловесной метафорики, что началась в линии гор, в ветвлении молний, в узоре листа.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. МАТРИЦЫ И АРХЕТИПЫ МЕТАФОР

Метафора редко существует как одиночный жест, как разовая вспышка смысла. Внутри языка и культуры она чаще проявляется как матрица — та глубинная, многослойная структура, из которой вырастает целое семейство смыслов. Эти первичные образы не создаются искусственно, они восходят к телесному, вещественному, чувственному опыту, настолько базовому, что становятся почти незаметными. «Река», «огонь», «корень», «путь», «ткань», «свет» — не просто слова и не только символы. Это архетипы, из которых рождаются системы понятий, те самые организующие схемы, через которые мир становится постижимым. Каждая из них — источник, вокруг которого образуется том смыслов.

«Река» — это не только образ времени. Из неё произрастает множество смысловых ответвлений: движение, неостановимость, переход, разделение, течение жизни, поток сознания, граница, русло, исток, впадение. Один прототип разветвляется, становится домом для целого смыслового семейства. «Огонь» — не только тепло и опасность, но очищение, стремление, разрушение, энергия, начало и конец. В «пути» заключены не только направление и движение, но судьба, испытание, изменение, цель. «Ткань» становится способом мыслить связность, непрерывность, уклад, пересечение, а затем — пространство-время. Каждый архетип несёт в себе возможность множества переносов, и в этом проявляется его генеративность: он способен производить смыслы, не исчерпываясь ими.

Метафорические матрицы не работают в одиночку. Они

пересекаются, соединяются, наслаждаются. «Путь» встречается с «светом» — и рождается образ истины как направления. «Река» переплетается с «тканью» — и появляется образ времени как сплетённого потока. Эти пересечения не случайны: они порождены культурной работой мысли, которая не просто берёт образы из окружающего мира, но строит из них взаимосвязанную систему. Здесь рождается диалог матриц — перекрёстные переносы, в которых один архетип помогает осмысливать другой, не подменяя, а расширяя. Именно в этих узлах происходит формирование сложных концептов, на пересечении «пламени» и «пути» — героизм, на стыке «корня» и «света» — знание, на пересечении «ткани» и «поля» — структура.

Но эта устойчивость образа несёт в себе и опасность. Матрица, однажды ставшая основой смыслового порядка, рискует омертветь, застыть в догме, стать не открывающей, а навязывающей. В этом заключается парадокс метафоры: её сила — в подвижности, а слабость — в закреплении. Если «путь» перестаёт быть возможностью, а становится единственной правильной формой жизни, если «свет» превращается в синоним истины, не допускающий иных источников знания, если «огонь» используется только как очищение и никогда как разрушение, — метафора теряет свою глубину и превращается в риторику, в идеологему.

Работа с метафорическими матрицами требует не разрушения, а расширения. Над ними нельзя господствовать, но с ними можно вступать в творческий диалог. Это значит — удерживать внутреннюю подвижность, видеть в архетипе не формулу, а возможность. Расширение происходит тогда, когда

привычная структура открывается для неожиданного пересечения. Например, когда «корень» больше не связан только с происхождением, но становится образом связи с будущим; когда «ткань» перестаёт быть только структурой и начинает мыслиться как слабина, изнашивание, прозрачность.

Таким образом, культура не использует метафору как готовый инструмент, а постоянно переписывает её. В этой переписке участвуют все формы выражения — язык, жест, образ, архитектура, техника. Человек мыслит не метафорами, а в метафорах, двигаясь от матрицы к матрице, перекладывая их, наслаивая, заставляя вступать в диалог. Каждая эпоха не изобретает метафору заново, но слышит её по-своему. И в этом слышании рождаются новые формы — не из пустоты, а из переложения старых мотивов.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. КУЛЬТУРЫ И ИХ МЕТАФОРЫ

Каждая культура строит себя не только через институты, нормы и законы, но прежде всего через образы, которые становятся внутренними опорами мышления и действия. Эти образы не просто украшают речь, они закладываются в саму ткань повседневного и символического. В них складываются модели власти, отношений, справедливости, времени, труда. Так рождаются осевые метафоры — те, на которых держится мир как форма жизни.

Религии формируют свои системы понятий через устойчивые образы: свет как истина, путь как спасение, дом как храм, отец как бог, огонь как дух. Эти фигуры не нуждаются в разъяснении — они воспроизводятся в ритуале, в теле, в архитектуре. Право мыслится через такие же матрицы: весы, мера, слепота, голос, равновесие. Экономика — через движение: поток денег, рост, инвестиционная температура, рынок как живое существо. Всё это не просто термины — это образы, в которых закреплены способы чувствовать сложное и действовать внутри него.

Политические культуры особенно чётко оформляют себя через метафору тела. Государство — это организм; у него есть сердце, голова, нервы, слабости, иммунитет. Народ — это кровь, нация — плоть, история — позвоночник. Или же государство — это корабль, движущийся сквозь бурю времени, с капитаном, командой, мачтой, курсом. Эти метафоры устойчивы, повторяемы, инерционны. Они не просто описывают — они предписывают: если государство — тело, то оно может быть больным; если корабль — его можно захватить или потерять курс. За образом скрывается

сценарий действия.

Медиасреда порождает свои новые метафорические матрицы, которые не отменяют прежние, но перестраивают акценты. «Сеть» — не просто технический термин, а модель мира, в котором всё связано, иерархии смешены, контроль заменён алгоритмом. «Вирусность» — способ мыслить распространение идей, эмоций, влияния — как эпидемию. «Поток» — не просто движение информации, а режим жизни, в котором исчезает стабильная форма и всё существует в режиме скольжения. Эти образы не являются нейтральными: они проникают в представления о субъекте, власти, правде, норме.

В язык общественных конфликтов также внедрены метафоры, часто незамечаемые, но формирующие сам способ дискуссии. «Война аргументов», «битва мнений», «информационные удары», «идеологическая оккупация» — всё это риторика, превращающая размышление в боевые действия. Она диктует агрессию, устраниет сложность, требует победы. Такая метафора делает невозможной тонкую аргументацию, вытесняет сомнение и приводит к поляризации. Смена языка здесь означает не только смену тона, но перестройку политического мышления.

Именно поэтому смена культурной метафоры — это всегда перенастройка общественных кодов. Когда, например, вместо «государства как тела» вводится образ «платформы», меняется вся структура представлений: исчезают органы, возникает интерфейс; теряются функции, появляются доступы. Или когда «общество» описывается как «экосистема», а не как «машина» — появляются новые логики взаимодействия: баланс,

устойчивость, среда вместо иерархии, команды и причинности. Образ ведёт за собой новую норму.

В эпоху глобализации эта работа с метафорами становится ареной культурной конкуренции. Разные цивилизации привносят свои осевые образы, и от того, какие из них окажутся доминирующими, зависит не только риторика, но и то, как будет устроен мир. Одни культуры продолжают мыслить в терминах вертикали, другие переходят к горизонтали. Одни держатся за идею центра, другие распадаются в сеть. В этом скрытом споре побеждает не тот, у кого больше аргументов, а тот, чья метафора точнее настраивает восприятие мира. Образы решают исход конфликта до того, как начинается обсуждение.

Культура — это не только текст, но и интуитивная грамматика образов, в которой живёт целое. И потому метафора в ней — не украшение, а глубинный механизм, задающий вектор мысли. Сменить образ — значит сменить эпоху.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ЭТИКА МЕТАФОР

Метафора, обладая силой приближения и прояснения, несёт в себе и другую сторону — способность упрощать, подменять, навязывать. Там, где она проникает в речь о человеке, она может стать не инструментом понимания, а механизмом редукции. Чем глубже укореняется образ, тем незаметнее превращение личности в ярлык. Так начинается пошлый профайлинг — когда живой человек растворяется в шаблоне, а сложность бытия уступает место фигурке в чужом мысленном театре. Кто-то становится «волком», кто-то «овцой», кто-то «жертвой», «тираном», «тенью». Язык придаёт форму — но одновременно лишает многослойности. И эта упрощённая форма быстро превращается в приговор.

Особую опасность несёт метафора, когда используется для моральной атрибуции. Различие в поведении, во внешности, в ритмах жизни мгновенно обрачиваются в риторике — и различие оказывается осуждением. «Гниль», «грязь», «порча», «разложение» — всё это якобы описательные термины, в которых закреплён взгляд, превращающий инаковость в порок. Метафора не просто обрисовывает: она вкладывает в облик смысл, который может быть не высказываем, но уже прочитан. В этом и состоит её коварство: она работает до сознательного суждения, подменяя саму возможность увидеть человека иначе.

Многие формы дискриминации долго живут не в агрессии, а в образах, кажущихся естественными. Женщина — «цветок», мужчина — «охотник», ребёнок — «пустой сосуд», мигрант — «волна», бедный — «паразит». Эти образы вписываются в культуру, повторяются в литературе, в политике, в рекламе, и тем

самым придают нормальность структурам неравенства. Метафора, не будучи ложью в прямом смысле, создаёт иерархию, не требующую объяснения. Она встраивает предвзятость в само восприятие.

Именно поэтому возникает необходимость различать понимание и классификацию. Понять — значит войти в пространство другого, удерживая его в его собственной мере. Классифицировать — значит подогнать под уже известную схему. Метафора опасна там, где высказывается как абсолют, где не оставляет места исключению, где «собака» означает не один образ, а целый набор качеств, зафиксированных без апелляции. В этом смысле не всякое узнавание есть путь к знанию. Иногда узнавание — это просто насилие шаблона.

Против этого требуется не запрет, а техника. Первая из таких техник — пауза. Пауза перед суждением, в которой успевает возникнуть вопрос: что именно здесь распознано, и не слишком ли быстро? Вторая — «перевод»: умение пересказать свою реакцию другими словами, вывести скрытую метафору наружу и услышать, насколько она ограничивает. Если внутренний отклик можно выразить иначе, не прибегая к жесткому образу, — возможно, и восприятие человека изменится.

Так рождается новая этика восприятия, в которой достоинство не подчинено схеме. Речь идёт не о стерильности и не о запрете на образное мышление, а о внимании к тому, как именно образ действует. Метафора может приближать, но может и заслонять. Она может помочь увидеть, но может и заставить отвернуться. Этический жест состоит не в отказе от образа, а в ответственности за его работу. Это требует не только

чуткости, но и мужественной способности пересмотреть собственное мышление.

В этом и заключается зрелое отношение к метафоре: не доверять ей автоматически, не следовать за ней слепо, но вести с ней внутренний диалог. Пусть она остаётся союзницей, но не судьёй. Пусть служит открытию, а не осуждению. Там, где живёт метафора — там возможна новая глубина. Но лишь при условии, что за образом всегда остаётся человек.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. ПРОТИВ «РАСШИФРОВКИ НЕЗАШИФРОВАННОГО»

Толкование — великое искусство и столь же великая опасность. Оно способно проливать свет на смысл, ускользающий от первого взгляда, но в равной мере может стать ритуалом, лишённым основания, актом, в котором разбирают то, что никогда не было скрыто, и расшифровывают нешифрованное. Герменевтика, начавшись как попытка понять, слишком часто превращается в профессию измышления. Смысл начинает мыслиться как клад, зарытый под каждым словом, под каждым поворотом фразы, и сам текст теряет прямоту, становясь поводом для нескончаемых догадок. Возникает искусственная глубина — как будто произведение существует не для выражения, а для того, чтобы его взломали.

В этой игре толкования тайна перестаёт быть событием мысли и становится профессией. Критик, следя ритуалу, не пытается услышать, что сказано, — он ищет, что якобы спрятано. Так рождается иллюзия глубины: будто каждое высказывание обязательно должно иметь второе, третье, четвёртое дно, а отсутствие этих уровней воспринимается как признак примитивности. Но не всякий текст — шифр. И не всякое молчание требует расшифровки. Иногда смысл находится на поверхности — не потому, что он беден, а потому, что он ясен. И эта ясность требует не взлома, а мужественного признания.

Существует подлинная необходимость толкования — там, где текст многослоен не по притязанию, а по природе; где обертон не играет роль, а рождается из напряжённости формы; где читатель не вторгается, а прислушивается. Но рядом с этим существует и

симуляция толкования, в которой каждый образ превращается в повод для аллюзии, каждый мотив — в знак чего-то другого, каждый поворот мысли — в замаскированную оговорку. В таких попытках теряется подлинный контакт: текст перестаёт говорить, он начинает служить. Его не слушают — его используют.

Честность смысла — это редкое достоинство. Оно требует отказаться от идеи, что глубина обязательно связана с неочевидностью. Подлинная сложность часто живёт в простом, и мужество автора — не прятать, а называть. Не выдумывать глубину, а удерживать правду высказывания. Это не исключает богатства интерпретаций, но делает возможным диалог, в котором текст остаётся текстом, а не полем для проекций.

Хорошие тексты действительно рождают обертоны — не как секретные коды, а как эхо, звучащее за пределами сказанного. Их сила — в способности порождать новые смыслы без потери исходного. Они не таят, а излучают. Читатель слышит в них не скрытые знаки, а собственный отклик, сонастройку, продолжение. Это не второе дно, а расслоение восприятия. В таком чтении возможно уважение — не к таинственности, а к полноте.

И в этой полноте возникает важный, тонкий момент: автор не является последним авторитетом по поводу собственного текста. Он создаёт, не зная всех его эффектов. Он говорит, но не может контролировать всё, что будет услышано. И нередко он сам учится у своих читателей — не потому, что они нашли в нём тайное, но потому, что они наделили его речь новыми возможностями. Читатель приносит с собой новые оптики, новые контексты, и в этом диалоге рождается живая, а не насильтвенная интерпретация. Не взлом, а

отклик.

Отказ от расшифровки нешифрованного — это не отказ от смысла, а возвращение к нему. Это путь к зрелому мышлению, где ценят не загадочность, а точность, не многозначность как самоцель, а богатство звучания. В этом пространстве метафора не становится поводом для паранойи, а остаётся тем, чем должна быть: формой видения, а не объектом подозрения.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. ПРАКТИКИ МЕТАФОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Метафорическое мышление — не только природная способность, но и поддающаяся развитию практика. Оно может оставаться фоновым, неосознанным, инерционным — а может быть включено в сознательную работу, стать инструментом преобразования восприятия, способом выхода за границы привычного. Для этого требуется внимательность к собственному мышлению: умение замечать, какие образы определяют отношение к миру, к себе, к другим. Первая ступень такой работы — диагностика. Это умение распознать доминирующие метафоры, на которых покоятся реакции, решения, эмоциональные коды. Иногда они звучат напрямую: «я застрял», «мне нужно прорваться», «это тупик». Иногда скрываются в манере говорить о жизни как о сражении, о теле — как о механизме, о времени — как о ресурсе. Каждая из этих матриц организует восприятие и сужает поле возможного.

Осознание этого — уже начало перемены. Вторая ступень — сознательная смена образа. Это не игра в риторику и не стилистическая замена. Это поиск такой метафоры, которая не подтверждает тупик, а выстраивает из него выход. Например, вместо «стены» — «развилка». Вместо «сражения» — «танец». Вместо «провала» — «переход». Новая метафора не отменяет трудность, но меняет конфигурацию: она смещает акценты, позволяет действовать не в кольце, а в пространстве. Эта практика требует дисциплины: наблюдать за языком, не позволять инерции закреплять ненужные конструкции, быть внимательным к образам, в которых живёт собственная речь.

Особенно значима эта работа в конфликтах. Взаимное непонимание часто закрепляется в языке через жёсткие схемы: агрессор — жертва, истина — ложь, атака — защита. Эти метафоры усиливают полярность и лишают гибкости. Перекодировка конфликта начинается с попытки описать ситуацию иначе — через образы, в которых возможно взаимодействие, а не только отталкивание. Вода, отражение, перепутье, расхождение ритмов — такие образы не решают проблему, но создают поле, в котором можно услышать друг друга иначе. Это не увод от сути, а способ удержать сложность.

Междисциплинарное мышление живёт тем же принципом. Оно строится на переходах — когда структура из одной области применяется в другой. Метафорическое мышление становится здесь методом: модели из биологии используются в экономике, образы из математики — в философии, понятия из искусства — в урбанистике. Такой перенос требует не поверхностного сопоставления, а глубокого узнавания структурного соответствия. Он позволяет строить мосты, где раньше были стены дисциплин, и настраивает мышление на подвижность без утраты точности.

Эта практика может быть развита и в виде простых упражнений. Одно из них — «пять переносов»: попытка описать одну и ту же проблему через пять различных метафор. Это может быть физическая форма («узел», «пропасть»), природный процесс («засуха», «смена течения»), культурный сюжет («испытание героя», «переходный ритуал»), техническая схема («сбой системы», «перезагрузка»), музыкальная структура («диссонанс», «модуляция»). Такое упражнение не требует точного определения, но развивает гибкость и

умение удерживать многослойность без расщепления. Проблема, увиденная с разных сторон, перестаёт быть тупиком — она становится многомерной задачей.

Всё это подводит к важнейшему принципу: экологическая ответственность за выбранные метафоры. Образ, встроенный в речь, влияет на поступки. Метафора, закреплённая в культуре, формирует институты. Выражение «война с бедностью» уже задаёт способ действия — агрессию, принуждение, контроль. Говорить о природе как о «ресурсе» — значит допустить её исчерпаемость. Назвать общество «рынком» — значит сделать торговлю универсальной нормой. Эти выборы не нейтральны: они создают рамку, в которой формируются решения. Быть внимательным к метафоре — значит быть внимательным к последствиям.

Метафорическое мышление не отменяет анализа. Оно не заменяет доказательств. Но оно определяет, что подлежит анализу, а что нет; что заметно, а что игнорируется; что может быть поставлено под вопрос, а что принимается молча. В этом его сила — и в этом его ответственность.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. МЕТАФОРА КАК СРЕДА МЫСЛИ

Когда метафора перестаёт быть просто выразительным приёмом и становится средой, в которой разворачивается мышление, меняется сам способ восприятия культуры, науки и повседневной реальности. Она больше не служит лишь украшением или способом объяснения, но выступает как активный участник формирования смыслов, проникая в самые глубинные структуры познания. В культурах разных эпох и народов метафора формировалась карты мира, по которым человек ориентировался в неопределенности, интуитивно связывая невидимое с видимым, абстрактное с конкретным, невыразимое с телесным. Эти культурные метафоры, обретая устойчивость, превращались в незримые законы коллективного мышления, формируя границы допустимого и способ выражения нового.

Исследование этих образных систем в свете корпусной лингвистики позволяет уловить, как в разных языках метафора становится закономерной моделью для организации знаний. Выявляя повторяющиеся структуры в огромных массивах текстов, корпусные подходы позволяют различить не только наиболее устойчивые метафорические выражения, но и обнаружить изменения в их частотности и функции, указывающие на сдвиги в общественном сознании. При этом когнитивные модели, опирающиеся на данные психолингвистики, раскрывают, как образы, заимствованные из телесного опыта, становятся основой для построения сложных теоретических представлений. Мозг, мысль, язык — всё это оказывается вовлечённым в сложный танец переноса, в котором метафора не просто называет, но строит концепт, преображая

восприятие.

Особое значение приобретают перекрёстные исследования, объединяющие данные нейронаук, поведенческой психологии и лингвистики. Благодаря им становится возможным проследить, как метафорическая структура отражается в активации определённых зон мозга, как она влияет на скорость и точность принятия решений, каким образом она меняет мотивацию и выбор. Совмещение этих дисциплин рождает более тонкое понимание того, как именно метафора работает на глубинном уровне, одновременно формируя интуиции и направляя внимание. Здесь обнаруживается не только теоретическая, но и прикладная ценность: метафора становится рабочим инструментом в области инноваций, образования, искусства.

Тесты продуктивности позволяют оценить метафору как маркер креативности, выявляя её роль в процессе генерации новых идей. Участники, владеющие богатым метафорическим мышлением, как правило, демонстрируют высокую способность к созданию нестандартных решений, к гибкому переходу между контекстами, к реконфигурации известного в неожиданных формах. Метафора, переходя из роли эстетического украшения в статус когнитивного механизма, становится предиктором изобретательности, внутренним мотором новаторства.

В образовательной практике это открывает возможность для разработки специальных протоколов, направленных на развитие метафорической грамотности. Умение распознавать, интерпретировать и создавать метафоры рассматривается не просто как часть языковой компетенции, но как основа критического и системного

мышления. Через работу с метафорой раскрываются скрытые механизмы понимания, появляется доступ к неочевидным связям и альтернативным моделям мира. Подобная грамотность способствует не только обогащению речи, но и формированию более сложной и гибкой картины реальности.

Возникает пространство, в котором наука, искусство и техника сходятся, чтобы вместе исследовать смысловые структуры. Открытая лаборатория, в которой художник и инженер, философ и биолог сотрудничают, используя метафору как общий язык. Здесь метафора перестаёт быть частной принадлежностью литературы или риторики и становится универсальным инструментом моделирования. Она делает возможным диалог между разными системами знаний, соединяя вычислимое с неуловимым, техническое с поэтическим.

С исчезновением ложной оппозиции между «инструментом» и «смыслом» метафора обретает свою полную мощь: не разделяя мышление на форму и содержание, она одновременно действует и означает. Она не описывает уже существующее, но создаёт новое, продвигаясь по границам возможного, где речь перестаёт быть зеркалом и становится двигателем.

Разворачивая картину метафоры как среды мышления, нельзя не заметить, как всё чаще в её описании прослеживается стремление к онтологическому минимализму, где за множеством форм прячется один, глубоко укоренённый принцип. Подобная установка избавляет от необходимости множить сущности, позволяя видеть в метафоре не просто стилистическое явление, но универсальный механизм, через который разворачиваются самые различные процессы — от

научного моделирования до нравственного воображения. Метафора, следуя этой логике, становится формой редукции сложности, но не за счёт упрощения, а через выявление скрытых конфигураций, связывающих разнородное единым контуром.

Такой взгляд обретает особую силу в точке сопряжения между натурфилософией и когнитивной наукой. Первая — наследница античной традиции — всегда искала принципы, из которых можно было бы вывести многообразие природных форм, стремясь уловить движение первооснов. Вторая — современная дисциплина, вооружённая экспериментом и вычислением, исследует, как человеческое сознание конструирует реальность, опираясь на ограниченные ресурсы мозга и языка. На перекрёстке этих линий метафора начинает играть роль мостового принципа: она соединяет динамику природных процессов с логикой ментальных репрезентаций, сближая биологическое и культурное в едином ритме образного мышления.

В этом контексте уместно вспомнить фигуру Дональда Дэвидсона, для которого метафора вовсе не заключалась в особом способе передачи значения. Он утверждал, что метафора не сообщает ничего такого, что можно было бы выразить в прямом смысле; она действует иначе — побуждает к взгляду, инициирует особый способ восприятия. Его подход, чуждый любым претензиям на завершённую мировоззренческую систему, высвечивает значимость дисциплинированной мысли без претензии на замкнутую полноту. Это был взгляд, освобождённый от иллюзии исчерпывающего объяснения, но именно в этом и заключалась его сила: он напоминал, что понимание не обязательно сводится к формулировке.

Однако одного этого взгляда было недостаточно, чтобы охватить всё богатство метафорического процесса. Именно поэтому так необходимы дополнения, предложенные Максом Блэком, Полем Рикёром и Джорджем Лакоффом. Блэк, введя различие между фокусом и рамкой, показал, как именно метафора изменяет значения, создавая новый смысл не прибавлением, а перемещением акцентов. Рикёр, развивая герменевтическую линию, наделял метафору способностью открывать горизонты бытия, связывая речь с экзистенциальной глубиной человеческого опыта. Лакофф, в свою очередь, утверждал, что метафора не есть украшение мысли, а её структура, позволяющая оперировать абстракциями, исходя из телесного и чувственного. Эти три подхода, столь разные по направлению и масштабу, создают контекст, в котором метафора может быть понята как многослойное явление: одновременно языковое, когнитивное, культурное и онтологическое.

На этом фоне возникает и собственное понимание: метафора как матрица миротворчества. В отличие от моделей, стремящихся к воспроизведению уже существующего, метафорическая матрица ориентирована на создание нового — она не просто перекодирует известное, а формирует альтернативные картины мира. В ней заключён потенциал не для объяснения, а для созидания. Используя силу переноса, метафора способна смещать границы возможного, раскрывая то, чего ещё не было, но что может быть увидено, если изменить точку зрения. Через неё осуществляется переход от анализа к проектированию, от описания к действию, от отражения мира — к его пересборке.

Метафора не просто помогает понять: она предлагает представить. И в этом движении воображения рождаются пространства, где знание не противопоставляется вере, где точность научного взгляда не отрицает силу поэтического прозрения, а инженерия мысли соединяется с глубинной этикой. Именно в этом и заключается подлинная продуктивность метафоры — в её способности быть не только методом, но началом формы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда речь заходит о метафоре, легко впасть в иллюзию, будто она — всего лишь инструмент, внешне присоединяемый к мышлению, средство для украшения речи или облегчения понимания. Но подобное представление оказывается ложным по своей сути. Метафора — это не то, чем оперирует мысль извне, это то, в чём она сама обитает. Не язык пользуется метафорами — сознание в них укоренено. Мы не применяем их, подобно мастеру, выбирающему подходящий инструмент; мы движемся внутри их логики, как рыба в воде, не осознающая границ. В свете этого споры, подобные тем, что вёл Дональд Дэвидсон, кажутся излишними. Его попытка отделить значение от действия, восприятие от интерпретации, не учитывает самой природы метафорического мышления, в котором образ не прилагается к мысли, но порождает её.

Каждое понятие, каждая категория, которой пользуется разум, есть ни что иное, как застывшая метафора — когда-то свежий и смелый перенос, затвердевший в обыденности и утративший прозрачность. Категории возникают не из логических схем, но из образного опыта, оседающего в языке. И всякая подлинная революция в мышлении — будь то научная, философская или политическая — представляет собой не что иное, как замену одной метафорической конструкции на другую. Там, где казалось, что мир устроен так-то, вдруг пропастиает новое уподобление, меняющее не только описание, но и само видение реального. Прежняя метафора перестаёт держать мир, и на её место приходит иная, предлагающая другую карту, другую оптику, другую онтологию. В этом движении — не просто смена

риторики, но переустройство основ бытия.

Наука и искусство, несмотря на различие методов и целей, оказываются двумя полюсами одного и того же механизма: оба они работают с формами метафорического моделирования, стремясь ухватить скрытые структуры мира. Наука выстраивает системы, в которых метафора становится гипотезой, моделью, теорией, переводящей сложное в постижимое. Искусство, напротив, раскрывает неочевидное через образ, позволяя пережить то, что ещё не имеет имени. Но в обоих случаях действует единый импульс — жажда смысла, поиск соразмерности между внутренним и внешним. Один и тот же жест узнаётся в открытии закона и в поэтическом прозрении: движение от темноты к очерченности, от неразличимости к образу, способному удержать противоречие.

В этом пересечении лежит возможность для нового мышления — такого, что не разрывает разум и чувство, конструкцию и интуицию, точность и образность. Метафора, вбирая в себя эти напряжения, не разрешает их, но удерживает, создавая форму, в которой мышление может дышать.

В выборе метафоры заключён не только акт мысли, но и жест нравственный. Образ, которым наделяется явление, никогда не бывает нейтральным. Он не просто отражает — он предписывает. Назвав человека машиной, мир становится ареной расчёта, уподобив его саду — пробуждается забота, назвав болезнь войной — формируется логика врага. Каждый подобный выбор задаёт тональность взаимодействия с реальностью, вплетаясь в повседневные решения, законодательные структуры, педагогические практики. В этом смысле

метафора не только познаёт, но предопределяет. Образы, которые однажды надеваются на мир, становятся оболочкой опыта, формируя то, что будет воспринято как естественное. Этическая ответственность заключается не в том, чтобы отказаться от метафор — это невозможно, — но в том, чтобы сознавать, какие из них поддерживают, а какие подчиняют; какие раскрывают мир, а какие прячут его.

В стремлении вновь услышать первозданные ритмы бытия всё чаще возникает интуиция возврата к природе. Не в смысле бегства от техники или отказа от культуры, но как попытка восстановить связь между образом и живым порядком. Здесь метафора становится не проекцией, а эхом: она не столько навязывает форму, сколько отзыается на структуру реальности. Самоподобие бытия — древняя идея, согласно которой в малом отражается великое, а в каждом явлении можно уловить резонанс целого — обретает новую актуальность. Метафора, вырастающая из этого созерцания, не насиливает предмет, а бережно угадывает его внутреннюю форму. Такая фигура мысли стремится быть точной не в смысле измерения, а в смысле соразмерности, где язык не дробит мир, но отзыается на его пульс.

Всё сказанное приводит к вызову, который неизбежно встаёт перед каждым, кто вступает в область метафорического мышления: научиться менять образы — чтобы менять реальность. Не в том смысле, чтобы произвольно подставлять одни сравнения вместо других, а в том, чтобы развить чуткость к их скрытому действию, научиться распознавать, где они закостенели, а где ещё способны нести смысл. Это навык, требующий не только

ума, но и мужества — отказаться от привычной картины, вступить в неуверенность, допустить возможность иного. Там, где меняется метафора, возникает трещина в обыденном, через которую начинает проникать свет нового понимания. Из этой трещины и прорастает другая реальность — не как абстрактная мечта, а как следствие изменения языка. Слово, сказанное иначе, становится делом, мысль, увиденная в новом образе, превращается в форму жизни.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Arbib, M. A. (2012). *How the brain got language: The mirror system hypothesis*. Oxford University Press.
2. Barad, K. (2007). *Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning*. Duke University Press.
3. Black, M. (1962). *Models and metaphors: Studies in language and philosophy*. Cornell University Press.
4. Boroditsky, L. (2001). Does language shape thought?: Mandarin and English speakers' conceptions of time. *Cognitive Psychology*, 43(1), 1–22.
5. Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.
6. Brandom, R. (1994). *Making it explicit: Reasoning, representing, and discursive commitment*. Harvard University Press.
7. Brown, T. L. (2003). *Making truth: Metaphor in science*. University of Illinois Press.
8. Caputo, J. D. (1987). *Radical hermeneutics: Repetition, deconstruction, and the hermeneutic project*. Indiana University Press.
9. Clark, A. (1997). *Being there: Putting brain, body, and world together again*. MIT Press.
10. Clark, A. (2008). *Supersizing the mind: Embodiment, action, and cognitive extension*. Oxford University Press.
11. Culler, J. (1975). *Structuralist poetics: Structuralism, linguistics and the study of literature*. Cornell University Press.
12. Damasio, A. (1994). *Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain*. Putnam.
13. Damasio, A. (2010). *Self comes to mind: Constructing the conscious brain*. Pantheon Books.

14. Davidson, D. (1963). Actions, reasons, and causes. *The Journal of Philosophy*, 60(23), 685–700.
15. Davidson, D. (1967). Truth and meaning. *Synthese*, 17(3), 304–323.
16. Davidson, D. (1970). Mental events. In L. Foster & J. W. Swanson (Eds.), *Experience and theory* (pp. 79–101). University of Massachusetts Press.
17. Davidson, D. (1973). Radical interpretation. *Dialectica*, 27(1), 313–328.
18. Davidson, D. (1974). On the very idea of a conceptual scheme. *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 47, 5–20.
19. Davidson, D. (1975). Thought and talk. In S. Guttenplan (Ed.), *Mind and language* (pp. 7–23). Oxford University Press.
20. Davidson, D. (1980). *Essays on actions and events*. Oxford University Press.
21. Davidson, D. (1984). *Inquiries into truth and interpretation*. Oxford University Press.
22. Davidson, D. (1986). A nice derangement of epitaphs. In E. Lepore (Ed.), *Truth and interpretation: Perspectives on the philosophy of Donald Davidson* (pp. 433–446). Blackwell.
23. Davidson, D. (1991). *Epistemology externalized*. *Dialectica*, 45(2–3), 191–202.
24. Davidson, D. (1995). The problem of objectivity. In E. Lepore & B. McLaughlin (Eds.), *Actions and events: Perspectives on the philosophy of Donald Davidson* (pp. 153–165). Blackwell.
25. Davidson, D. (2001). *Subjective, intersubjective, objective*. Oxford University Press.
26. Davidson, D. (2005). *Truth, language, and history*. Oxford University Press.
27. Dennett, D. C. (1991). *Consciousness explained*. Little, Brown.
28. Descartes, R. (1996). *Meditations on first philosophy* (J. Cottingham, Trans.). Cambridge University Press. (Original

- work published 1641)
29. Eco, U. (1979). *A theory of semiotics*. Indiana University Press.
 30. Fauconnier, G., & Turner, M. (2002). *The way we think: Conceptual blending and the mind's hidden complexities*. Basic Books.
 31. Fodor, J. A. (1983). *The modularity of mind: An essay on faculty psychology*. MIT Press.
 32. Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge* (A. M. Sheridan Smith, Trans.). Pantheon Books.
 33. Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
 34. Freeman, M. (2017). Narrative as a mode of understanding: Method, theory, praxis. *Narrative Inquiry*, 27(2), 387–402.
 35. Gibbs, R. W. (1994). *The poetics of mind: Figurative thought, language, and understanding*. Cambridge University Press.
 36. Gibbs, R. W. (2006). *Embodiment and cognitive science*. Cambridge University Press.
 37. Gombrich, E. H. (1960). *Art and illusion: A study in the psychology of pictorial representation*. Phaidon.
 38. Goodman, N. (1978). *Ways of worldmaking*. Hackett.
 39. Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Volume 1: Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
 40. Heidegger, M. (1971). *Poetry, language, thought* (A. Hofstadter, Trans.). Harper & Row.
 41. Heidegger, M. (1996). *Being and time* (J. Stambaugh, Trans.). State University of New York Press. (Original work published 1927)
 42. Hofstadter, D. R., & Sander, E. (2013). *Surfaces and essences: Analogy as the fuel and fire of thinking*. Basic Books.
 43. Jakobson, R. (1990). *On language* (L. Waugh & M. Monville-

- Burston, Eds.). Harvard University Press.
44. Johnson, M. (1987). *The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination, and reason*. University of Chicago Press.
45. Kövecses, Z. (2010). *Metaphor: A practical introduction* (2nd ed.). Oxford University Press.
46. Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.
47. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
48. Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). *Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought*. Basic Books.
49. Latour, B. (1993). *We have never been modern* (C. Porter, Trans.). Harvard University Press.
50. Merleau-Ponty, M. (2012). *Phenomenology of perception* (D. A. Landes, Trans.). Routledge. (Original work published 1945)
51. Nagel, T. (1986). *The view from nowhere*. Oxford University Press.
52. Nerlich, B., & Clarke, D. D. (2001). Mind, meaning and metaphor: The philosophy and psychology of metaphor in 19th-century Germany. *History of the Human Sciences*, 14(2), 39–61.
53. Núñez, R., & Freeman, W. J. (1999). Reclaiming cognition: The primacy of action, intention and emotion. *Journal of Consciousness Studies*, 6(11–12), 1–14.
54. Ortony, A. (Ed.). (1993). *Metaphor and thought* (2nd ed.). Cambridge University Press.
55. Pinker, S. (2007). *The stuff of thought: Language as a window into human nature*. Viking.
56. Putnam, H. (1981). *Reason, truth and history*. Cambridge University Press.
57. Quine, W. V. O. (1969). *Ontological relativity and other essays*.

- Columbia University Press.
58. Ricoeur, P. (1975). *The rule of metaphor: Multi-disciplinary studies of the creation of meaning in language* (R. Czerny et al., Trans.). University of Toronto Press.
59. Ricoeur, P. (1991). *From text to action: Essays in hermeneutics II* (K. Blamey & J. B. Thompson, Trans.). Northwestern University Press.
60. Rorty, R. (1989). *Contingency, irony, and solidarity*. Cambridge University Press.
61. Searle, J. R. (1979). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*. Cambridge University Press.
62. Searle, J. R. (1983). *Intentionality: An essay in the philosophy of mind*. Cambridge University Press.
63. Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271–313). University of Illinois Press.
64. Turner, M. (1996). *The literary mind: The origins of thought and language*. Oxford University Press.
65. Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The embodied mind: Cognitive science and human experience*. MIT Press.
66. Wittgenstein, L. (2009). *Philosophical investigations* (G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker, & J. Schulte, Trans., Rev. 4th ed.). Wiley-Blackwell. (Original work published 1953)